

Дом с семью шпилями

Автор:

Натаниель Готорн

Дом с семью шпилями

Натаниель Готорн

Натаниель Готорн – классик американской литературы. Его произведения отличает тесная взаимосвязь прошлого и настоящего, реальности и фантастики. По признанию критиков, Готорн имеет много общего с Эдгаром По.

«Дом с семью шпилями» – один из самых известных романов писателя. Старый полковник Пинчон, прибывший в Новую Англию вместе с первыми поселенцами, несправедливо обвиняет плотника Моула, чтобы заполучить его землю. Моула ведут на эшафот, но перед смертью он проклинает своего убийцу. С тех пор над домом полковника тяготеет проклятие.

Натаниель Готорн

Дом с семью шпилями

Глава I

Старый род Пинчонов

В одном из городов Новой Англии стоит посреди улицы старый деревянный дом с высокой трубой и семью остроконечными шпилями, или, лучше сказать, фронтонами здания, которые смотрят в разные стороны. Улица называется

улицей Пинчонов, здание – домом Пинчонов, а развесистый вяз перед входом в этот дом известен каждому мальчишке в городе под именем вяза Пинчонов. Когда мне случается бывать в этом городе, я почти всякий раз заворачиваю на улицу Пинчонов, чтобы пройти в тени этих двух древностей – раскидистого дерева и избитого бурями дома.

Вид этого почтенного здания производил на меня всегда такое же впечатление, как человеческое лицо: мало того что я видел на его стенах следы внешних бурь и солнечного зноя – они говорили мне о долгом кипении человеческой жизни в их внутреннем пространстве и о превратностях, которым подвергалась эта жизнь. Если бы рассказать вам о ней со всеми подробностями, так она бы составила повесть не только интересную и поучительную, но и поистине замечательную. Но такая история затронула бы цепь событий, тянувшихся почти через два столетия, а подробности ее заполнили бы толстый том или такое количество томиков, какое едва ли было бы благоразумно посвятить летописям всей Новой Англии за тот же период. Поэтому нам необходимо как можно больше сжать предание о старом доме Пинчонов, иначе называемом Домом с семью шпильями. Мы приступим к развитию действия в эпоху не очень отдаленную от нашего времени, а пока вкратце расскажем об обстоятельствах, при которых было положено основание этому дому, и бросим беглый взгляд на его странную наружность и на его почерневшие – особенно от восточного ветра – стены, на которых местами уже проступила, так же как и на кровле, мшистая зелень. Повесть наша будет иметь связь с делами давно минувших дней, с людьми, нравами, чувствами и мнениями, почти совершенно забытыми. Если нам удастся передать все это читателю в достаточной ясности, то он наверняка выведет важное нравоучение из маловажной истины, что дела прошедшего поколения есть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдаленном будущем; что вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к существованию, люди неизбежно сеют растения, которым суждено развиваться и в их потомстве.

Дом с семью шпильями, несмотря на свою видимую древность, был не первым обиталищем, какое построил цивилизованный человек на этом самом месте. Улица Пинчонов носила прежде более смиренное название переулка Моула, по имени своего первоначального поселенца, мимо хижины которого шла тропинка, проторенная коровами. Естественный источник чистой и вкусной воды – редкое сокровище на морском полуострове, где была расположена пуританская колония и где Мэтью Моул построил свою хижину с косматой соломенной кровлей. Тогда она была удалена от того, что называлось центром деревни. Когда же, лет через тридцать или сорок, деревня разрослась в город, место, на котором стояла

лачуга Моула, чрезвычайно приглянулось одному статному и сильному человеку, который и предъявил притязания на владение как этим участком, так и обширной полосой окрестных земель – в силу того, что они были пожалованы ему правительством. Этим претендентом был полковник Пинчон, известный нам по нескольким чертам характера, которые сохранены преданием, как человек энергичный и непреклонный в своих намерениях. Мэтью Моул, со своей стороны, несмотря на низкое звание, тоже с особенным упорством защищал то, что считал своим правом, и в течение нескольких лет отстаивал один или два акра земли, которые собственными руками когда-то расчистил от леса. Нам не известен ни один письменный документ, касающийся этой тяжбы. Сведения наши обо всем событии основаны большей частью на предании. Поэтому было бы слишком смело и, пожалуй, несправедливо делать решительное заключение о законности или незаконности действий обеих сторон, хотя, впрочем, и предание оставляло открытым вопрос, не преступил ли полковник Пинчон свои права с целью присвоить себе небольшое владение Мэтью Моула. Это подозрение подтверждается больше всего тем фактом, что спор между двумя столь неравными противниками – и притом в период, когда личное влияние имело гораздо больше веса, нежели ныне, – окончился только смертью владельца оспариваемого участка земли. Эта смерть окружила имя владельца хижины каким-то ужасным ореолом, так что после казалось делом весьма отважным – вспахать небольшое пространство, занятое его жилищем, и стереть след этого жилища и память о нем в народе.

Старого Мэтью Моула казнили за колдовство. Он был одной из жертв этого ужасного суеверия, которое, между прочим, доказывает нам, что в старой Америке сословия сильные, стоявшие во главе народа, разделяли в такой же степени всякое фанатическое заблуждение своего века, как и самая темная чернь. Духовенство, судьи, государственные сановники – умнейшие, спокойнейшие, непорочнейшие люди своего времени – громче всех одобряли иногда кровавое дело. Столь же мрачную сторону их поведения составляет странная неразборчивость, с которой они преследовали не только людей бедных и дряхлых – как это было во времена более отдаленные, – но и лиц всех званий, преследовали равных себе, преследовали собственных братьев и жен. Неудивительно, если посреди такой мешанины несчастий, человек столь незначительный, как Моул, очутился на месте казни, почти незамеченный в толпе своих товарищей по участи. Но впоследствии, когда миновал фанатизм этой эпохи, вспомнили, что полковник Пинчон громче всех ратовал за то, чтобы земля была очищена от колдуна. Говорили втихомолку и о том, что он имел свои причины с таким ожесточением добиваться осуждения Мэтью Моула. Все знали, что несчастный протестовал против жестокости и злобы своего преследователя

и объявил, что его, Моула, ведут на смерть из-за его имущества. В минуту самой казни – когда ему надели петлю на шею в присутствии полковника Пинчона, который верхом на коне взирал с угрюмым видом на ужасную сцену, – Моул обратился к нему с эшафота и произнес предсказание, точные слова которого сохранены как историей, так и преданиями у домашнего очага: «Бог, – сказал умирающий, указывая пальцем на своего врага и вперив зловещий взгляд в его чуждое проявлениям чувств лицо, – Бог напоит его моей кровью!»

После смерти мнимого чародея его убогое хозяйство сделалось легкой добычей полковника Пинчона. Но когда разнесся слух, что полковник намерен построить себе дом – большой, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, – на месте, которое прежде занимала лачуга Мэтью Моула, то деревенские кумовья только покачивали головами. Не выражая вслух сомнения в том, что могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами процесса они, однако ж, намекали, что он хочет построить свой дом над могилой, не совсем спокойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где в будущем молодые четы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые преступлением Моула, и страшное воспоминание о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и придавать дому атмосферу печали. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листьями еще девственных лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место!

Но он был не из тех, кто отказался бы от своего плана из боязни привидений или из пустой чувствительности, каким бы ни было ее основание. Если бы ему сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще подействовало бы на него; что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним в любое время. Одаренный здоровым и твердым, как кусок гранита, умом и непоколебимым упорством в намерениях, он всегда оставался до конца верен своим замыслам. Что же касается деликатности, щепетильности или еще каких-нибудь тонких чувств, то они были совершенно чужды полковнику. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основание своего дома на том самом месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листьев. Замечательно – а по мнению некоторых, даже знаменательно – то обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник совершенно утратил прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба, или здесь скрывалась более таинственная причина – не ясно, известно только, что вода в источнике

Моула – как его продолжали называть – сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и любая старуха, живущая в окрестностях, будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни.

Читателю, быть может, покажется странным, что главным плотником из работавших над постройкой нового дома был не кто иной, как сын Мэтью Моула. Вероятно, он был лучшим мастером в свое время, а возможно, полковник счел нужным – или его сподвигло на это какое-нибудь лучшее чувство – забыть в этом случае о своей вражде к родне павшего соперника. Впрочем, таким был тот век: сын не отказывался заработать честные деньги, или, лучше сказать, порядочное количество фунтов стерлингов, даже на службе у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором Дома с семью шпилями и исполнил свое дело так добросовестно, что дубовая постройка – детище его рук – держится до сих пор.

Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар – а я помню его с детства: он уже и тогда был предметом моего любопытства как лучший и прочнейший образец давно минувшей эпохи и вместе с тем как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков; он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, в каком впервые озарило его солнце. Его нынешнее состояние, до которого он дошел за сто шестьдесят лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой мы желали бы представить себе его внешний вид в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Хиггинсона и после хорового пения псалма для чувств более грубых готовилось обильное возлияние пива, сидра, вина и водки, и, как было известно, ожидали также зажаренного целиком быка или по крайней мере искусно разрезанные части говядины в количестве, равном весу и объему целого быка. Коза, застреленная в двадцати верстах от этих мест, пошла на паштет. Из трески весом в шестьдесят фунтов, пойманной в заливе, сварили прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая в воздух дым из кухни, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком.

Улица в назначенный час была заполнена народом; каждый, подходя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание. Оно стояло несколько в стороне от улицы, но скорей из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был

украшен странными фигурами, произведением грубой готической фантазии. Семь остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу, похожие на целую группу строений, дышащих посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, выступая над первым, бросал на него тень и придавал меланхолическую мрачность нижним комнатам. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из семи шпилей. На треугольнике шпиля, глядевшего на улицу, в то же самое утро были установлены солнечные часы – солнце на них еще показывало первый светлый час истории, которой не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом; все это вместе с недавно изрытой почвой, которая не успела еще порости травой, усиливало впечатление странности и новизны, какое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной жизни людей.

Итак, гости собрались в доме. Полковник Пинчон удалился к себе в кабинет, который называли приемной. Шло время, а он все не появлялся. Наконец присутствовавший среди гостей лейтенант-губернатор решил позвать хозяина к столу. Он подошел к двери приемной и постучал. Но ответа не последовало. Когда затих стук, в доме царило глубокое, страшное, тяготившее душу молчание.

– Странно, право! Очень странно! – воскликнул лейтенант-губернатор, нахмурившись. – Но так как наш хозяин подает нам пример несоблюдения приличий, то и я отброшу их и без церемоний войду в его комнату!

Он повернул ручку, дверь уступила и вдруг отворилась настежь внезапно ворвавшимся ветром, который, подобно долгому вздоху, прошел от наружной двери через все проходы и комнаты нового дома. Он зашелестел платьями дам, взвевя длинные кудри джентльменских париков и заколыхал занавесями у окон и постельными шторами в спальнях, всюду производя странный трепет, который был еще поразительнее тишины. Неопределенный ужас, будто от какого-то страшного предчувствия, закрался в душу каждого из присутствовавших.

Несмотря на это, гости поспешили к отворенной двери, подталкивая вперед в своем нетерпеливом любопытстве самого лейтенанта-губернатора. При первом взгляде они не заметили ничего необычного. Это была хорошо убранная комната

умеренной величины, немного мрачная от занавесок; на полках стояли книги; на стене висела большая карта и, как можно было догадаться, портрет полковника Пинчона, под которым сидел сам оригинал в дубовом кресле, с пером в руке. Письма и чистые листы бумаги лежали перед ним на столе. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, брови его были нахмурены, и на смуглом лице заметно было неудовольствие, как будто он сильно оскорбился вторжением к себе гостей.

Тут мальчик, внук покойника, единственное человеческое существо, которое осмеливалось фамильярничать с ним, протиснулся в эту минуту сквозь толпу гостей и побежал к сидевшей фигуре, но, остановившись на полпути, испуганно вскрикнул. Гости, вздрогнув все разом, как листья на дереве, подступили ближе и заметили в пристальном взгляде полковника Пинчона неестественное выражение; на его манжетах видны были кровавые пятна, и серебристая борода его была также забрызгана кровью. Поздно было уже оказывать помощь. Жестокосердый пуританин, неутомимый преследователь, хищный человек с непреклонной волей был мертв! Мертв в своем новом доме! Предание, едва ли стоящее упоминания, потому что оно придает оттенок суеверного ужаса сцене, и без того довольно мрачной, – предание утверждает, будто бы из толпы гостей послышался чей-то громкий голос, напомнивший последние слова казненного Мэтью Моула: «Бог напоил его моей кровью!»

Вот так рано смерть – этот гость, который непременно является во всякое жилище человеческое, – перешагнула через порог Дома с семью шпильями!

Внезапный и таинственный конец полковника Пинчона наделал в то время немало шуму. Поговаривали, что он умер насильственной смертью, так как на горле у него замечены были следы пальцев, на измятых манжетах – отпечаток кровавой руки, а его остроконечная борода была всклокочена, как будто кто-то крепко ее схватил. Во внимание принималось и то соображение, что решетчатое окно возле кресла полковника было в ту пору отворено, а за пять минут до рокового открытия была замечена человеческая фигура, перелезавшая через садовую ограду позади дома. Но мы не станем придавать какую-либо важность этого рода историям, которые непременно вырастают вокруг всякого подобного происшествия и которые, как и в настоящем случае, иногда переживают целые столетия. Что касается собственно нас, то мы так же мало им верим, как и басне о костяной руке, которую будто бы видел лейтенант-губернатор на горле полковника, но которая исчезла, когда он сделал несколько шагов вперед по комнате. Известно только, что несколько докторов медицины долго совещались

между собой и жарко спорили о мертвом теле. Один, по имени Джон Свиннертон, – особа, по-видимому, весьма важная – объявил, если только мы ясно поняли его медицинские выражения, что полковник умер от апоплексии. Каждый из его товарищей выдвигал свою гипотезу, более или менее правдоподобную, но все они облекали свои мысли в такие темные, загадочные фразы, которые должны были свести с ума неученого слушателя. Уголовный суд освидетельствовал тело и, так как он состоял из людей особенно умных, вынес заключение, против которого нечего было сказать: «Умер скоропостижно».

В самом деле, трудно предположить, что здесь было серьезное подозрение в убийстве или основание обвинять в злодеянии какое-нибудь постороннее лицо. Сан, богатство и почетное место, занимаемое покойником в обществе, сами по себе являлись достаточными причинами для того, чтобы произвести самое строгое следствие. Но так как в документах не говорится ни о каком следствии, то можно думать, что ничего подобного не было. Предание, которое часто сохраняет истину, забытую историей, но еще чаще передает нам нелепые толки, какие в старину велись у домашнего очага, а теперь наполняют газеты, – предание одно виной всем противоположностям в показаниях. В надгробном – после напечатанном и уцелевшем до сих пор – слове, почтенный мистер Хиггинсон наравне с разными благополучиями земного странствия своего почтенного прихожанина упоминает о тихой, благовременной кончине. Покойник исполнил свои обязанности – его род носит достойное имя и его отпрыски поселены под надежным кровом на целые столетия; что же еще оставалось этому доброму человеку, кроме как совершить конечный шаг с земли в золотые небесные врата? Нет сомнения, что благочестивый проповедник не произнес бы таких слов, если бы он только подозревал, что полковник переселен в другой мир рукой убийцы.

Семейство полковника Пинчона, по-видимому, было настолько хорошо обеспечено на будущее, как только возможно при непостоянстве всех дел человеческих. Весьма естественно было предполагать, что с течением времени благосостояние его скорее увеличится, нежели придет в упадок. Сын и наследник его не только вступил в непосредственное владение богатым именем, но в силу одного контракта с индейцами, подтвержденного после общим собранием директоров, имел притязание на обширный, еще не исследованный кусок восточных земель. Эти владения заключали в себе большую часть так называемого графства Вальдо в штате Мэн и превосходили объемом многие герцогства в Европе. Когда непроходимые леса уступят место – как это и произойдет неизбежно, хотя, может быть, через многие сотни лет, – золотой жатве, тогда они станут для потомков полковника Пинчона источником

несметного богатства. Если бы только полковник пожил еще неделю, то, весьма вероятно, благодаря своему политическому влиянию и сильным связям в Америке и в Англии, он успел бы подготовить все, что было необходимо для полного успеха в его притязании. Но, несмотря на красноречивые слова доброго мистера Хиггинсона по случаю кончины полковника Пинчона, это было единственное дело, которое покойник при всей своей предусмотрительности не смог довести до конца. Сыну его не только не доставало высшего положения, какое занимал в обществе отец, но и способностей и силы характера для того, чтобы достичь его. Поэтому он не мог ни в чем преуспеть посредством личного влияния, а справедливость притязаний Пинчонов была совсем не так очевидна после смерти полковника, как при его жизни. Из цепи доказательств потеряно было одно звено – только одно, но его нигде нельзя было теперь найти.

Пинчоны, однако, не только на первых порах, но и в разные эпохи следующего столетия, отстаивали свою собственность. Прошло уже много лет, как права полковника были забыты, а Пинчоны все продолжали справляться с его старой картой, начерченной еще в то время, когда графство Вальдо было непроходимой пустыней. Где старинный землемер изобразил только леса, озера и реки, там они намечали расчищенные пространства, чертили деревни и города и вычисляли возрастающую ценность территории.

Впрочем, в роду Пинчонов в каждом поколении появлялась какая-нибудь личность, до некоторой степени одаренная проницательным умом и энергичностью, отличавшими старого полковника. Черты его натуры можно было наблюдать в характерах многих его потомков: они отражались в них с такой же точностью, как если бы сам полковник, только несколько смягченный, время от времени снова появлялся на земле. Тогда в городе говорили: «Опять показался старый Пинчон! Теперь семь шпилей засияют снова!» Все как один Пинчоны были привязаны к родовому гнезду. Впрочем, разные причины заставляют автора думать, что многие – если не большая часть наследственных владельцев этого имения – терзались сомнениями насчет этого дома. О законности владения тут не могло возникать вопроса, но тень дряхлого Мэтью Моула тяжелым грузом ложилась на совесть каждого Пинчона.

Мы уже сказали, что не беремся проследить всю историю Пинчонов в непрерывной ее связи с Домом с семью шпилями, не беремся также изобразить дух дряхлости и запустения, повисший над самим домом. А внутри этого почтенного здания, в одной из комнат, всегда висело большое мутное зеркало; оно, по баснословному преданию, удерживало в своей глубине все образы, какие

когда-либо отражались в нем, – образы самого полковника и множества его потомков. Некоторые из них были в старинной детской одежде, другие в расцвете женской красоты, или мужественной молодости, или в сединах пасмурной старости. Если бы тайна этого зеркала была в нашем распоряжении, то нам бы только стоило сесть напротив него и перенести запечатленные в нем образы на свои страницы. Но предание, которому трудно найти основание, гласит, что потомство Мэтью Моула тоже имело связь с таинствами зеркала и могло каким-то мистическим образом делать так, что в отражении появлялись покойные Пинчоны – не в том виде, в каком они представлялись людям, не в лучшие и счастливейшие часы их, но в апогее жестокой житейской горести. Народное воображение долго было занято делом старого пуританина Пинчона и колдуна Моула: долго вспоминали предсказание с эшафота, делая к нему разные прибавления, и если у кого-нибудь из Пинчоных начинало першить в горле, то сосед его уже готов был шепнуть другому на ухо полушутя-полусерьезно: «Его мучит кровь Моула!» Внезапная смерть одного из Пинчоных лет сто назад, при обстоятельствах, напоминавших кончину полковника, была принята за подтверждение справедливости общего мнения на этот счет. Сверх того, неприятным и зловещим казалось следующее обстоятельство: изображение полковника Пинчона оставалось неприкосновенным и висело на стене той самой комнаты, в которой он умер. Эти суровые, неумолимые черты как будто символизировали грустную судьбу дома.

Впрочем, род Пинчоных существовал больше чем полтора столетия и подвергся, по-видимому, меньшим бедствиям, нежели многие другие современные ему семейства Новой Англии. Отличаясь свойственными только им особенностями, Пинчоны, однако, носили и общие черты того небольшого общества, в котором жили. Их родной город славился своими воздержанными, скромными, порядочными и приверженными к домашнему очагу обитателями; но надо признаться, что в нем встречались такие странные личности и происходили такие необыкновенные приключения, какие едва ли случалось вам встречать где-нибудь еще. Во время войны с Англией Пинчоны той эпохи, поддерживая короля, вынуждены были покинуть родину, но потом вернулись в свое отечество, чтобы спасти от конфискации Дом с семьей шпилями. За последние семьдесят лет самым примечательным событием в семейной хронике Пинчоных, а в то же время и самым тяжким бедствием, какому только подвергался их род, была насильственная смерть – по крайней мере так думали – одного из членов семейства от руки другого. Некоторые обстоятельства этого ужасного события заставляли считать убийцей племянника погибшего Пинчона. Молодой человек был допрошен и обвинен в преступлении, но или показания не были вполне убедительны, так что в душе судей осталось тайное сомнение, или один из

аргументов обвиненного – его знатность и обширные связи – имел больше веса, только смертный приговор его заменили пожизненным заключением. Это печальное событие случилось лет за тридцать до того момента, в который начинается действие нашей истории. В последнее время носились слухи (им верили немногие), что будто бы этот заключенный по той или иной причине был вызван на свет из своей могилы.

Кстати, нужно сказать здесь несколько слов о жертве этого уже почти забытого убийства. То был старый холостяк, имевший кроме дома и поместья, оставшихся от старинного имения Пинчонов, еще и большой капитал. Он был эксцентричным меланхоликом, любил рыться в старых рукописях и слушать старинные предания и якобы дошел до заключения, что Мэтью Моул, колдун, лишился жизни и имущества совершенно несправедливо. Когда он в этом убедился, то, как утверждали знавшие его ближе других, решил отдать Дом с семью шпильями одному из потомков Мэтью Моула, и только беспокойство его родни, вызванное догадкой о такой мысли старика, помешало ему привести в исполнение это намерение. Он не преуспел в своем предприятии, но после его смерти осталось опасение – не сохранилось ли где-нибудь его духовное завещание, составлению которого старались помешать при его жизни.

Жилище покойного вместе с большей частью других богатств досталось в наследство ближайшему законному родственнику. Это был племянник, кузен молодого человека, обвиненного в убийстве дяди. Новый наследник до самого вступления во владение имением слыл большим повесой, но теперь исправился и стал достойным членом общества. Действительно, он обнаружил в себе многие качества полковника Пинчона и достиг большей значимости в свете, чем кто-либо из его рода со времен старого пуританина. Занявшись уже в достаточно зрелом возрасте изучением законов и питая склонность к гражданской службе, он долго работал в каком-то второстепенном присутственном месте и в конце концов получил сан судьи. Потом он полюбил политику и дважды заседал в конгрессе. Помимо того что он таким образом представлял собой довольно значительную фигуру в обеих отраслях законодательства Соединенных Штатов, судья Пинчон бесспорно был украшением своего рода. Он выстроил себе деревенский дом в нескольких милях от родного города и проводил в нем все свободное от служебных занятий время «в общении и в добродетелях, свойственных христианину, доброму гражданину и джентльмену».

Но из Пинчонов остались в живых немногие, кто мог воспользоваться плодами благоденствия судьи. В отношении естественного приращения поколение их

сделало мало успехов; скорее можно сказать, что оно вымерло, нежели приумножилось. Членами семейства были: во-первых, сам судья и его единственный сын, путешествовавший по Европе; во-вторых, уже достигший тридцатилетнего возраста заключенный, о котором мы говорили выше, и сестра его, что вела чрезвычайно уединенную жизнь в Доме с семьей шпилями, доставшемся ей в пожизненное владение по завещанию старого холостяка. Ее считали совершенно нищей, и она, по-видимому, сама избрала себе такой жребий, хотя кузен ее – судья – не раз предлагал ей жить со всеми удобствами или в старом доме, или в своем новом жилище. Наконец, последней и самой юной из рода Пинчонов была деревенская девушка лет семнадцати, дочь другого кузена судьи, женившегося на молодой незнатной и небогатой женщине и скончавшегося рано в бедственных обстоятельствах. Вдова его недавно вышла замуж во второй раз.

Что касается потомства Мэтью Моула, то оно считалось уже вымершим. Впрочем, после общего заблуждения насчет колдовства Моулы долго еще продолжали жить в городе, где казнили их предка. Они были людьми спокойными, честными и благомыслящими, и никто не замечал в них злобы за нанесенную их роду обиду. Если же у домашнего очага Моулов и переходило от отца к сыну воспоминание о судьбе мнимого чародея и потере их наследства, то враждебное чувство, возбужденное этим воспоминанием, не отражалось в их поступках и никогда не высказывалось открыто. Было бы неудивительно, если бы они и вовсе перестали вспоминать, что Дом с семьей шпилями стоит на земле, принадлежавшей их предку. Моулы таили свое неудовольствие в глубине души. Они постоянно вынуждены были бороться с бедностью, так как принадлежали к классу простолюдинов, добывали себе пропитание трудами рук своих, работали на пристанях или плавали по морям в качестве матросов; жили то в одном, то в другом конце города в съемных лачугах и под конец жизни переселялись в богадельню. Наконец, после долгого блуждания по дорогам судьбы они канули на дно и исчезли навеки, что, впрочем, рано или поздно предстоит каждому. В течение последних тридцати лет ни в городских актах, ни на могильных камнях, ни в народных переписях, ни в частных воспоминаниях – нигде не появлялось ни единого следа потомков Мэтью Моула. Может быть, они и существуют где-нибудь до сих пор, но этого не знает никто.

Пока не исчезли представители рода Моула, они отличались от других людей; это отличие не бросалось в глаза, его легче было почувствовать, чем выразить словами: оно состояло в их врожденно-осторожном характере. Приятели их – или по крайней мере желавшие быть их приятелями – убеждались, что Моулы будто обведены магическим кругом, за черту которого при всей их внешней

откровенности и дружелюбии посторонний не мог проникнуть. Может быть, это особенность их характера и удерживала людей на расстоянии от них. Она, без сомнения, только усиливала в отношении к ним это чувство суеверного страха, с которым горожане продолжали смотреть на все, что напоминало им мнимого колдуна: такое грустное оставил он наследство! По мнению горожан, потомки Моула наследовали его таинственные качества, и, по убеждению многих, глаза их были наделены странной силой. Среди других отличий, им также приписывали дар нарушать сон ближних.

Нам остается написать еще немного о Доме с семью шпилями, и введение будет окончено. Улица, на которой он стоял, давно уже перестала слыть лучшей частью города; так что, хотя старое здание и было окружено новыми домами, все они в основном были невелики, построены из дерева и достаточно однообразны, как и многие жилища простолюдинов. Что касается древнего здания – театра нашей драмы, – то его образ составляли дубовый сруб, доски, гонт[1 - Гонт – остро сточенные с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны дранки, дощечки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дощечки в паз другой.], осыпающаяся мало-помалу штукатурка и громадная труба посреди кровли. А в его стенах люди пережили столько разнообразных чувств, в нем столько страдали, а иногда и радовались, что само дерево как будто пропиталось этими ощущениями. Дом этот в наших глазах есть огромное сердце со своей самостоятельной жизнью, со своими приятными и мрачными воспоминаниями.

Выступ второго этажа придавал дому такой задумчивый, размышляющий вид, что невозможно было пройти мимо него, не подумав, что он заключает в себе много тайн и будто бы философствует над какой-то повестью, полной необыкновенных приключений. Перед ним, на самом краю немощеного тротуара, рос вяз, который, по сравнению с деревьями, какие мы обыкновенно встречаем, мог считаться настоящим великаном. Он был посажен праправнуком первого Пинчона, и, хотя ему теперь исполнилось уже лет восемьдесят, а может быть, и сто, он будто еще только-только возмужал; бросая тень от края до края улицы, он поднялся даже над семью шпилями и трепал почерневшую кровлю дома своими густыми ветвями. Вяз этот облагораживал старое здание и как бы делал его частью природы. Улицу за последние сорок лет значительно расширили, так что теперь передний фронтон находился как раз у ее черты. По обе его стороны тянулась полуразрушенная деревянная ограда, сквозь которую был виден зеленый двор, а по углам подле здания в необыкновенном изобилии рос камыш. За домом располагался сад, некогда обширный, но теперь стесненный другими оградами или домами и разными постройками другой улицы. Было бы

упущением, маловажным конечно, однако же непростительным, если бы мы позабыли упомянуть о зеленом мхе, который разросся на выступах окон и на откосах кровли. Нельзя также не обратить внимания читателя на цветочный кустарник, который рос высоко в воздухе, недалеко от трубы, в углу между двух шпилей. Эти цветы были прозваны Букетом Элис. Какая-то Элис Пинчон, по преданию, посеяла там, ради забавы, семена, и когда набившаяся в щели гниющего гонта пыль образовала на кровле нечто вроде почвы, то из семян мало-помалу вырос целый куст цветов. К тому времени Элис давно уже лежала в могиле. Впрочем, каким бы образом ни попали туда эти цветы, грустно и вместе с тем приятно было наблюдать, как природа присвоила себе этот опустелый, разрушающийся, незащитный перед ветром и обрастающий зеленью старый дом семейства Пинчонов и как с каждым новым летом она всячески, но безуспешно старалась скрасить его дряхлую старость.

Есть еще одна весьма важная черта, которую нельзя оставить без внимания, но которая – этого мы сильно опасаемся – может повредить тому живописному и романтическому впечатлению, какое это почтенное здание благодаря нашим усилиям произвело на читателя. Из переднего шпиля, как мы называем узко заостренные кверху фронтоны под нависшим челом второго этажа, выходила прямо на улицу дверь лавки, разделенная горизонтально посередине, с окном в верхней ее части, какие часто можно видеть в домах старинной постройки.

Эта дверь причиняла немало горя нынешней обительнице величавого дома Пинчонов, равно как и некоторым ее предшественникам. Очень трудно говорить о таком щекотливом обстоятельстве, но лет сто назад тогдашний представитель рода Пинчонов оказался в стесненных денежных обстоятельствах. Этот господин, называвший себя джентльменом, был едва ли не какой-нибудь самозванец, потому как, вместо того чтобы пойти на службу к королю или его губернатору или хлопотать о своих землях, он не нашел лучшего пути поправить свои дела, чем прорубить дверь для лавки в стене своего наследственного жилища. У купцов, действительно, был обычай складывать товары и производить торговлю в собственных своих обиталищах, но в торговых операциях этого представителя рода Пинчонов было что-то мелочное. Соседи толковали, что он собственными руками, несмотря на украшавшие их манжеты, давал сдачу с шиллинга и переворачивал по два раза полпенни, чтобы удостовериться, не фальшивый ли он. Нечего и доказывать, что в его жилах текла, по-видимому, кровь какого-то мелкого торговца.

После его смерти дверь лавочки была немедленно заперта на все засовы и до самого того момента, с которого начинается наша история, вероятно, ни разу не отпиралась. Старая конторка, полки и другие предметы в лавке остались в том же виде, как были при покойном Пинчоне. Иные даже утверждали, что лавочник в белом парике, полинялом бархатном кафтане, в переднике и в манжетах, бережно отвернутых назад, каждую ночь – как видно было сквозь щели в лавочной двери – рылся в своем выдвижном ящике для денег или перелистывал исчерканные страницы записной книги. Судя по выражению неопишемого горя на его лице, можно было подумать, что он осужден целую вечность сводить свои счета и никогда не свести их.

Теперь мы можем приступить к началу нашей повести – началу самому смиренному, как это читатель тотчас увидит.

Глава II

Окно лавочки

Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, когда Гепзиба Пинчон встала со своей одинокой постели и начала одеваться. Мы далеки от неприличного желания присутствовать при туалете девственной леди. Поэтому наша история должна дожидаться мисс Гепзибы на пороге ее комнаты; мы позволим себе до тех пор упомянуть только о нескольких тяжелых вздохах, которые вырвались из ее груди, тем более что никто не мог их слышать, кроме такого слушателя, как мы. Старая дева жила в Доме с семьей шпилями одна, не считая некоего достойного уважения и благонравного художника-дагеротиписта[2 - Дагеротипия – открытый Дагером способ фотографирования предметов при помощи света на металлическую пластинку, обработанную особым химическим способом (применялась до введения методов современной фотографии)], который уже месяца три занимал комнаты в отдаленном шпиле – можно сказать, отдельном доме, так как все смежные двери запирались на замки и дубовые засовы, – следовательно, заунывные вздохи бедной мисс Гепзибы туда не долетали. Не долетали они также и ни до какого смертного уха, но всеобъемлющей любви и милосердию на далеких небесах слышна была молитва, то произносимая шепотом, то выражаемая вздохом, то затаенная в тяжком молчании, и постоянно взывавшая к Богу о помощи. Очевидно, этот день был нелегким для мисс

Гепзибы, которая на протяжении почти четверти столетия жила в строгом уединении и не принимала никакого участия в делах общества, равно как и в его удовольствиях.

Старая дева окончила свою молитву. Теперь она, спросите вы, переступит наконец через порог нашей повести? Нет, она сперва выдвинет каждый ящик в огромном старомодном бюро, это будет сделано не без труда и с жутким скрипом. Потом она задвинет их с такими же душераздирающими звуками. Вот слышен шелест плотной шелковой материи, слышны шаги взад-вперед по комнате. Мы догадываемся, что мисс Гепзиба встала на стул, чтобы удобнее осмотреть себя во весь рост в овальном туалетном зеркале, которое висит в резной деревянной раме над ее столом. В самом деле! Кто бы мог подумать! Зачем тратить драгоценное время на утренний наряд старой особе, которая никогда не выходит из дому и к которой никто не заглядывает?

Вот она почти готова. Простим ей еще одну паузу – она была сделана ради единственного чувства или, лучше сказать, страсти ее жизни – до такой степени тоска и одиночество разгорячили в ней это чувство. Мы слышим поворот ключа в небольшом замке: она отворила секретный ящик в письменном столе и, вероятно, смотрит на миниатюру кисти Мальбона. Нам посчастливилось видеть этот портрет. То было изображение молодого человека в шелковом старомодном шлафроке – мечтательное лицо с полными нежными губами и прелестными глазами, которые, казалось, обнаруживали не столько способность мыслить, сколько склонность к нежному и страстному волнению сердца. О том, кому принадлежали такие черты, мы не имеем никакого права разузнавать; мы только желали бы, чтобы он с легкостью прошел по трудной дороге жизни и был в ней счастлив. Не был ли он некогда обожателем мисс Гепзибы? О, нет! У нее никогда не было обожателя – бедняжка, куда ей! Она даже не знала по собственному опыту, что значит слово «любовь». И однако же, ее неослабевающая вера в оригинал этого портрета, ее вечно свежая память о нем, преданность ему были единственной пищей, какой жило ее сердце.

Она, по-видимому, положила назад миниатюру и стоит опять перед зеркалом. Отирает слезы. Еще несколько шагов по комнате, и наконец с другим жалобным вздохом, подобным порыву холодного, сырого ветра из случайно отворенной двери долго запертого подвала, мисс Гепзиба Пинчон является к нам! Она выходит в темный, почерневший от времени коридор, – высокая фигура в черном шелковом платье, с длинной узкой талией – и ищет дорогу на лестницу, как близорукая, какой она и была на самом деле.

Между тем солнце постепенно поднималось над краем горизонта. Легкие облака, что плыли высоко над ним, уже вобрали в себя его свет, золотистые блики играли в окнах целой улицы, включая и Дом с семью шпилями, который столько раз уже видел восход солнца! Солнечный свет помогает нам ясно рассмотреть устройство комнаты, в которую вошла Гепзиба, спустившись по лестнице. Комната довольно низкая, с перекладинами под потолком; на стенах – потемневшая деревянная резьба; в печь с расписанными изразцами вделан новейший камин. На полу разостлан ковер, некогда богато вытканый, но до того изношенный и полинявший, что его прежде яркие фигуры превратились в пятна неопределенного цвета. Из мебели здесь стоят два стола: один чрезвычайно многосложный, с бесчисленными ножками; другой, собственно чайный стол, сделан гораздо изящнее и имеет только четыре высокие и легкие ножки, по-видимому, до такой степени непрочные, что почти невероятно, как держится на них этот чайный стол с такого давнего времени. По периметру комнаты расставлено полдюжины стульев, прямых и так искусно приноровленных к неудобному расположению на них человеческой фигуры, что на них даже смотреть больно. Исключение составляет только очень древнее кресло с высокой резной спинкой, которое своим объемом вознаграждает опускающегося в него за недостаток изгибов, какими снабжены современные предметы мебели.

Из украшений комнаты мы укажем только на два, если можно вообще назвать их украшениями. Одно – карта владений Пинчонов в восточной Америке, начерченная рукой какого-то старинного топографа и испещренная грубыми изображениями индейцев и диких зверей, в числе которых есть и лев, так как естественная история страны была известна в то время не больше ее географии, а географические сведения о ней состояли из самых фантастических нелепостей. Другое украшение – портрет старого полковника Пинчона в две трети роста. Пуританин в шлеме с грубыми чертами лица и с серебристой бородой, в одной руке он держит Библию, а в другой – железную рукоятку шпаги, и эта последняя принадлежность его особы, изображенная художником удачнее прочих, бросается в глаза сильнее всего.

Войдя в комнату, мисс Гепзиба Пинчон остановилась как раз напротив этого портрета и стала смотреть на него с какой-то особенной угрюмостью, с каким-то странным изгибом бровей, который человек, незнакомый с этой женщиной, вероятно, истолковал бы как выражение досады или ненависти. Но в сущности не было ничего подобного – напротив, она испытывала почтение к изображению старого пуританина, а этот ее отталкивающий, нахмуренный вид был невинным следствием ее близорукости и старания как можно отчетливее увидеть

созерцаемый предмет.

Остановимся на минуту на этом несчастном выражении лица бедной Гепзибы. Ее нахмуренность – как несправедливо выразался в своих суждениях о ней свет или та часть его, которой случайно удавалось поймать ее взгляд в окне, – очень сильно вредила ей в глазах других людей, которые называли ее сердитой старой девой. Весьма вероятно, что и сама она, глядя в мутное зеркало и всегда встречая в его волшебном пространстве свои нахмуренные брови, истолковывала выражение своего лица столь же несправедливо, как и остальные. «Как я сегодня мрачна!» – шептала, я думаю, она себе под нос, пока наконец не уверилась в том, что ей суждено быть таким нахмуренным существом. Но сердце ее никогда не хмурилось. Оно было от природы нежным, чувствительным, подверженным волнениям и трепету и всеми этими свойствами обладало до сих пор, хотя лицо Гепзибы казалось суровым и даже злым.

Но мы, однако, все еще боязливо медлим у порога нашей истории. Признаемся, нам очень тяжело, очень неловко рассказывать о том, что станет сейчас делать мисс Гепзиба Пинчон.

Выше уже было сказано, что на нижнем этаже шпиля, обращенного к улице, один предок мисс Пинчон лет сто назад устроил лавочку. С того времени, как старый джентльмен, оставив свою торговлю, уснул вечным сном под гробовой крышкой, не только дверь лавки, но и внутреннее ее устройство оставались нетронутыми. Вековая пыль толстым слоем лежала на полках и конторке; она наполнила чашки весов и набилась в полуотворенный ящик конторки, где до сих пор лежала одна фальшивая шестипенсовая монета, стоившая даже меньше, чем всякая медная. Лавочка была точно в таком же виде и во время отдаленного детства Гепзибы, когда она и ее брат играли в жмурки в этом заброшенном углу дома... Ничто в ней не переменялось до настоящего момента.

Но теперь, несмотря на то, что окно лавочки все еще было плотно закрыто занавеской от любопытных взглядов прохожих, в ней произошла значительная перемена. Паутину старательно сняли с потолка, конторка и полки были выметены. Потемневшие весы также казались вычищенными – только напрасны были попытки устранить ржавчину, которая глубоко въелась в металл. В старой лавочке находилось теперь достаточно разных снадобий. Заглянув за конторку, можно было увидеть там бочонок... даже два или три бочонка. В одном содержалась мука, в другом яблоки, а в третьем, может быть, рис. Тут же стояли четырехугольный сосновый ящик с кусками мыла и другой такой же с соевыми

свечами. Небольшой запас темного сахара, бобы, сухой горох и прочие недорогие припасы, на которые был постоянный спрос, составляли основу запасов лавочки. Кто-то мог подумать, что все эти вещи уцелели еще со времен старого лавочника Пинчона; только вот большинство предметов по их виду и свойствам нельзя было отнести к его эпохе. Например, тут была конфетная стеклянная ваза с «Гибралтарскими кремнями» – не с настоящими осколками фундамента славной крепости, но со сладкими леденцами, красиво завернутыми в бумажки; кроме того, известный всем американским детям паяц Джим Кроу[3 - Джим Кроу – негр, персонаж популярного представления, которое показывали на подмостках американских ярмарок по всей стране с 1932 года.] – правда, пряничный – выделял здесь свои чудесные трюки. Отряд свинцовых драгунов галопировал вдоль одной полки в мундирах новейшего покроя; тут же было и несколько сахарных фигурок, мало похожих на людей какой бы то ни было эпохи, но все-таки больше напоминавших моды нашего времени. Но в особенности бросалась в глаза своей новизной пачка фосфорных спичек, внезапное воспламенение которых в старину приписали бы действию нечистой силы.

Одним словом, по всему было видно, что кто-то занял лавочку давно забытого мистера Пинчона и готов был возобновить торговые дела покойника. Кто мог быть этим смелым аферистом? И почему он из всех мест на свете избрал поприщем своих торговых спекуляций именно Дом с семью шпилями?

Возвратимся за объяснением этого недоумения к нашей старой деве. Она, наконец, отвела глаза от мрачной физиономии полковника, снова вздохнула – грудь ее в это утро была настоящей пещерой Эола[4 - Согласно древнегреческой мифологии, Зевс даровал Эолу власть над ветрами, которые тот заключил в пещеру на своем острове.], – на цыпочках пересекла комнату, прошла смежным коридором и отворила дверь в лавочку, только что описанную нами так обстоятельно. Выступ верхнего этажа и еще более густая тень древнего вяза, который стоял почти напротив этого шпиля, до того сгущали здесь темноту, что утренний полусвет в лавочке был похож на сумерки. Мисс Гепзиба еще раз вздохнула и помедлила с минуту на пороге, всматриваясь в окно с нахмуренными от близорукости бровями, как будто перед ней стоял какой-нибудь враг, и вдруг порхнула в лавочку. Ее торопливость была поистине поразительна.

Она с нервическим беспокойством – можно даже сказать, в каком-то исступлении – принялась приводить в порядок разные детские игрушки и другие

мелочи на полках и на окне лавочки. Движениям этой одетой в черное, бледнолицей госпожи была присуща какая-то трагичность, которая резко контрастировала с ее занятием. Странно было видеть, с какой печалью женщина брала в руки детскую игрушку; удивительно, как эта игрушка не исчезала от одного ее прикосновения. Вот она выставляет на окне пряничного слона, но рука ее так дрожит, что слон падает на пол и теряет три ноги и хобот; теперь он уже больше не слон, а просто несколько кусков черствого пряника. Далее она опрокинула банку с мраморными шариками. Все они покатались в разные стороны, и будто враждебная сила разогнала их по самым темным углам лавочки. Когда Гепзиба опустилась на колени, чтобы найти укатившиеся шарики, мы почувствовали, как к нашему сердцу подступили слезы сострадания. В ее душе происходила тяжелая борьба. Леди, с колыбели воспитанная в понятиях о своей важности и богатстве, с колыбели убежденная в ложной мысли, что стыдно такой знатной особе самой зарабатывать себе на содержание, – эта леди после шестидесятилетней борьбы с оскудевающими средствами была вынуждена спуститься с пьедестала своей знатности. Бедность, гнавшаяся за ней по пятам всю жизнь, наконец настигла ее. Она должна заработать себе на хлеб насущный или умереть!

Открыть мелочную лавочку было бы почти единственной возможностью женщины, оказавшейся в обстоятельствах нашей несчастной затворницы. При своей близорукости и с этими дрожащими пальцами, негибкими и вместе с тем изнеженными, она не могла работать швеей, хотя ее шитье лет пятьдесят тому назад было поистине образцовым. Ей часто приходило в голову открыть школу для маленьких детей, и однажды она принялась было перечитывать свои давнишние уроки в «Новом английском букваре», с намерением приготовиться к работе наставницей. Но любовь к детям никогда не была очень сильна в сердце Гепзибы, теперь же притупилась больше прежнего, если не угасла навеки. Она наблюдала из окна своей комнаты за соседскими детьми и сомневалась, что смогла бы перенести близкое знакомство с ними. Кроме того, в наше время и сама азбука сделалась такой философской наукой, что нельзя уже научить ей, просто показывая буквы. Нынешний ребенок скорее бы научил мисс Гепзибу, нежели старая Гепзиба научила бы ребенка. Таким образом, после многих замираний сердца, при мысли войти в неприятное столкновение со светом, от которого она так долго держалась в отдалении, бедняжка вспомнила, наконец, о старинной лавочке, о заржавевших весах и о пыльной конторке. Она бы медлила еще долго, но одно обстоятельство, еще не известное читателю, ускорило ее решимость. Она сделала все приготовления и положила начало этому предприятию. В ее родном городе было несколько подобных лавочек. Некоторые из них открылись в таких же старинных домах, как и Дом с семью шпилями, и в

одной или даже в двух за конторкой сидела такая же знатная и хмурая старушка, как и мисс Гепзиба Пинчон.

Нельзя было больше откладывать неизбежную минуту. Солнце уже кралось по фронтому противоположного дома; лучи, пробиваясь сквозь ветви вяза, все ярче освещали внутренность лавочки. Город пробуждался. Тачка пекаря уже стучала по мостовой, прогоняя последние остатки ночной тишины нестройным звяканьем своих колокольчиков. Молочник развозил от двери до двери кувшинчики, а вдали слышался пронзительный свисток рыбака. Ни один из этих признаков пробуждения города не ускользнул от наблюдения Гепзибы. Роковая минута наступила. Откладывать и дальше значило бы продлить свое страдание. Ей оставалось только поднять железный засов на двери лавочки, чтобы каждый, кому приглянется что-нибудь из выставленных в окне предметов, мог войти. Гепзиба совершила наконец и этот подвиг. Стук упавшего запора поразил ее возбужденные нервы, как самый страшный грохот. Тогда – как будто между ней и светом рухнула последняя преграда и поток бедствий готов был хлынуть в ее дверь – она убежала во внутреннюю комнату, бросилась в кресло своих предков и заплакала.

Бедная Гепзиба! Как тяжело писателю, который желает изобразить правдивыми красками натуру в различных обстоятельствах, осознавать, что так много ничтожного должно быть непременно примешано в чистейший пафос, представляемый ему жизнью! Какое, например, трагическое достоинство можно придать подобной сцене? Каким образом опоэтизировать нашу историю, когда мы вынуждены выводить на сцену в качестве главного действующего лица не молодую пленительную женщину, ни даже остатки поразительной красоты, разрушенной горестями, но высохшую, желтую, похожую на развалину старую деву в длинном шелковом платье и с каким-то странным тюрбаном на голове! Даже лицо ее не было безобразным до романтичности: оно приковывало к себе внимание только сдвинутыми от близорукости бровями; и, наконец, испытание ее состоит только в том, что после шестидесяти лет уединенной жизни она сочла необходимым добывать себе содержание, открыв лавочку. Если мы бросим взгляд на все героические приключения человеческого рода, то везде откроем такое же, как и здесь, смешение чего-то мелочного с тем, что есть благороднейшего в радости и горе. Жизнь человеческая составлена из мрамора и тины, и без глубокой веры в неизъяснимую любовь небесную мы видели бы на железном лице судьбы только ничем не смягчаемую суровость. Но так называемый поэтический взгляд в том именно и состоит, чтобы различать в этом хаосе странно перемешанных стихий красоту и величие, которые принуждены облекаться в отталкивающее рубище.

Глава III

Первый покупатель

Мисс Гепзиба Пинчон сидела в дубовом кресле, закрыв лицо руками и предавшись унынию, которое испытал на себе едва ли не каждый, кто только решался на важное, но сомнительное предприятие. Вдруг послышался громкий, резкий и нестройный звон колокольчика. Дама встала, бледная как мертвец. Неприятный голосок колокольчика (раздавшийся впервые, может быть, с тех времен, когда предшественник Гепзибы оставил торговлю) вызвал дрожь в ее теле. Решающая минута наступила! Первый покупатель отворил дверь!

Не давая себе времени поразмыслить над этим, она бросилась в лавочку. Бледная, с диким видом, с отчаянием в движениях, пристально всматриваясь и, разумеется, хмурясь, она выглядела так, словно скорее ожидала встретить вора, вломившегося в дом, нежели готова была стоять, улыбаясь, за конторкой и продавать разные мелочи за медные деньги. В самом деле, покупатель обыкновенный убежал бы от нее в ту же минуту. Но в бедном старом сердце Гепзибы не было никакого ожесточения, в эту минуту она не питала в душе горького чувства к свету вообще или к какому-нибудь мужчине или женщине в особенности. Она желала всем только добра, но вместе с тем хотела бы расстаться со всеми навеки и лежать в тихой могиле.

Между тем вновь прибывший стоял в лавочке. Явившись прямо с улицы, он как будто внес с собой в лавочку немного утреннего света. Это был стройный молодой человек двадцати одного или двух лет, с важным и задумчивым, даже чересчур задумчивым для его лет, выражением лица, но вместе с тем в его манерах и движениях сквозили юношеская энергия и сила. Темная жестковатая борода окаймляла его подбородок, при этом он носил небольшие усы; и то и другое очень шло к его смуглому, резко очерченному лицу. Что касается его наряда, то он был как нельзя проще: летнее мешковатое пальто из дешевой материи, узкие клетчатые панталоны и соломенная шляпа, вовсе не похожая на щегольскую. Весь этот костюм молодой человек мог купить себе на рынке, но благодаря своей чистойшей и тонкой сорочке он казался джентльменом – если только имел на это какое-нибудь притязание.

Он встретил нахмуренный взгляд старой Гепзибы, по-видимому, без всякого испуга, как человек, уже знакомый с ним и знавший, что эта женщина была незлой.

– А, милая мисс Пинчон! – сказал художник – это был упомянутый нами жилец Дома с семью шпилями. – Я очень рад, что вы не оставили своего доброго намерения. Я зашел для того только, чтобы пожелать вам от души успеха и узнать, не могу ли я чем-нибудь вам помочь.

Люди, находящиеся в затруднительных и горестных обстоятельствах или в раздоре со светом, способны выносить самое жестокое обращение и, может быть, даже черпать в нем новые силы, но они тотчас раскисают, встречая самое простое выражение искреннего участия. Так было и с бедной Гепзيبой. Когда она увидела улыбку молодого человека и услышала его ласковый голос, она сперва засмеялась истерическим хохотом, а потом начала плакать.

– Ах, мистер Холгрейв! – пробормотала женщина. – У меня ничего не получится! Ничего, ничего! Я бы желала лучше лежать в старом фамильном склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами! Да, и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, нежели здесь! Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна!

– Поверьте мне, мисс Гепзиба, – сказал молодой человек спокойно, – что эти чувства перестанут смущать вас, как только вы добьетесь первого успеха в вашем предприятии. Сейчас же они неизбежны: вы вышли на свет после долгого затворничества и населяете мир разными призраками и страхами, но погодите – вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских сказках. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом же прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.

– Но я женщина! – жалобно произнесла мисс Гепзиба. – Я хотела сказать: леди, но это уже не вернуть...

– Так и не будем толковать об этом! – ответил художник. – Забудьте прошлое. Вам же так будет лучше. Я скажу вам откровенно, милая моя мисс Пинчон, – мы ведь друзья? – что я считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни.

Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор кровь постепенно застывала в ваших жилах от сидения в одиночестве, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же вы предприняли осмысленное усилие для достижения полезной цели, вы сознательно подготовили себя к деятельности. Это уже успех, это покажется успехом всякому, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я сейчас хочу прогуляться по морскому берегу, а потом вернуться в свою комнату. Мне достаточно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько вы возьмете за полдюжины?

– Позвольте мне не отвечать на этот вопрос! – сказала Гепзиба со старинной величавостью и меланхолической улыбкой. Она вручила ему сухари и отказалась от платы. – Женщина из дома Пинчонов, – сказала она, – ни в каком случае не должна под своей кровлей брать деньги за кусок хлеба от своего единственного друга!

Холгрейв вышел, оставив мисс Пинчон не в таком тягостном, как раньше, расположении духа. Вскоре, однако, она вернулась к прежнему состоянию. С тревожным биением сердца она прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые появлялись на улице все чаще. Раз или два шага как будто останавливались – незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гепзибы. Она страдала: во-первых, от обуревавшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные люди имеют право смотреть в ее окно, а, во-вторых, от мысли, что эта своеобразная витрина не была убрана так искусно или заманчиво, как могла бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависит от того, как она расставила вещи, заменила ли лучшим яблоком другое, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки все становилось только хуже.

Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.

– Посмотри-ка! – воскликнул он. – Что скажешь? И на этой улице началась торговля!

– Да! Вот так штука! – подхватил другой. – В старом доме Пинчонов, под древним вязом!.. Кто мог ожидать такого? Старая девица Пинчон открыла лавочку!

– А как ты думаешь, Дикси, пойдет ли у нее дело? – сказал первый. – По-моему, это не слишком выгодное место. Тут сейчас за углом есть другая лавочка.

– Пойдет ли? – произнес Дикси таким тоном, как будто и мысль об этом трудно было допустить. – Куда ей! Она такая странная! Я видел ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если вздумает торговаться с ней. Говорю тебе, она все время ужасно хмурится – так, из одной злости.

– И я тоже скажу – куда ей! – согласился его приятель. – Держать лавочку не так-то легко, это я знаю по своему карману. Жена моя держала лавку три месяца, вот только вместо барыша получила пять долларов убытка!

– Плохо дело! – ответил Дикси. – Плохо дело!..

Трудно объяснить почему, только мисс Гепзиба, несмотря на все пережитые ею мучения из-за необходимости начать торговлю, едва ли когда-нибудь испытывала более горькое чувство, чем то, что было возбуждено в ней этим разговором. Слова о ее нахмуренном виде имели для нее ужасный смысл: с образа мисс Пинчон, какой она сама себя видела, вдруг спала обманчивая пелена, и ей представилась истина. Гепзиба была потрясена неблагоприятным впечатлением, которое произвела открытая ею лавочка на публику в лице этих двух ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, промолвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней прежде, чем повернули за угол. Но предсказание неудачи пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же могла она – затворница, совершенно неопытная в житейских делах, – как могла она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии, потеряла пять долларов на своей торговле! Успех представлялся ей невозможным, а надежда на него – нелепым самообольщением.

Какой-то злой дух, изо всех сил стараясь сбить Гепзибу с толку, развернул перед ее мысленным взором нечто вроде панорамы большого торгового города, населенного купцами. Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушки, магазины с материями, с их огромными витринами,

великолепными полками, правильно разложенными товарами и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивавшие их богатство в прозрачной глубине своей! И в то время, когда на одной стороне улицы старая мисс Пинчон видела этот роскошный рынок, со множеством раздушенных купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, – на другой ей представлялся мрачный Дом с семью шпилями, окно старенькой лавочки под выступом верхнего этажа и сама она в платье из плотной материи за конторкой, хмурящаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно возникал у нее перед глазами. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее покроет вечная мгла, в то время как другие дома будут сиять в лучах солнца. Ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!

Но в ту самую минуту, когда она так думала, над ее головой зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди было словно прикреплено к той же самой стальной пружине, потому что оно дрогнуло несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя за окном не было заметно фигуры человека. Гепзиба ждала со сложенными на груди руками. «Господи, помоги мне! – взывала она мысленно. – Испытание мое началось!»

Дверь, с трудом поворачиваясь на своих скрипучих заржавевших петлях, уступила наконец усилиям входившего, и перед Гепзибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоки, щеками. На нем был какой-то потрепанный синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой говорили о том, что он шел в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гепзибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.

– Что ты, дитя мое? – сказала мисс Пинчон, ободрившись при виде столь неопасной особы. – Что тебе нужно?

– Вот этот Джим Кроу, что на окне, – ответил мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. – Тот, что с целыми ногами.

Гепзиба протянула свою худую руку и, достав фигурку, отдала покупателю.

– Не нужно денег, – сказала она, слегка подтолкнув его к двери, потому что ей казалось мелочностью забрать у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. – Я дарю тебе Джима Кроу.

Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, какой он никогда еще не встречал в подобных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогой. Но едва он очутился на тротуаре, как голова Джима Кроу уже была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, то Гепзибе пришлось сделать это самой, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности «этих мальчишек». Она только поставила другого Джима Кроу на окно, как снова громко зазвенел колокольчик, отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лавочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны, как нельзя явственнее, вокруг его рта.

– Что тебе еще надо? – спросила лавочница с сильным нетерпением. – Ты вернулся затворить дверь, что ли?

– Нет, – ответил мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. – Дайте мне вон того, другого Джима Кроу.

– Хорошо, возьми, – сказала Гепзиба, доставая пряник, но, видя что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: – Где же деньги?

Деньги у мальчика были наготове, но он не без видимого сожаления положил монету в руку Гепзибы и покинул лавочку, отправив второго Джима Кроу туда же, что и первого.

Новая торговка опустила свою первую выручку в денежный ящик. Дело совершилось. Теперь, Гепзиба, ты уже не леди – ты просто Гепзиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!

И, однако, даже в то время, когда в ее голове возникали такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина, и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и наяву с тех самых пор, как она приняла решение открыть лавочку, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новизну своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже нечто похожее на радость. Это происходило оттого, что после стольких лет затворничества в ее жизнь ворвался свежий ветерок. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не ощущаем! Энергия, которой давно уже не чувствовала в себе Гепзиба, возродилась в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника превратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы оправить его в золото и носить на груди. Во всяком случае, именно его незаметному действию Гепзиба была обязана переменой, которую она чувствовала в теле и душе, тем более что он придал ей сил позавтракать.

Первый день ее новой жизни, впрочем, прошел не без затруднений. Прежняя апатия не раз грозила овладеть Гепзибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет, наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.

До наступления полудня изредка появлялись новые покупатели, но в ящик было опущено не слишком много денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно таким, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета и притом совсем гнилые. Потом пришла бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах – одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдальцу, уставшую от нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гепзиба отказалась брать у нее деньги и дала женщине даже больше муки, чем та просила. Вскоре после этого явился мужчина в синем засаленном пальто и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом крепких напитков, который не только вырывался у него изо рта, но и струился изо всех пор, подобно горячему газу. Гепзиба подумала, не муж ли это изнуренной трудами женщины. Он попросил табаку, но так как мисс Пинчон не позаботилась обзавестись этим товаром, то грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то ругательства. Гепзиба подняла глаза к небу.

Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирное пиво или какой-нибудь другой напиток покрепче и, не обнаружив ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Трое из них распахнули дверь настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик сыграл настоящий дуэт с нервами Гепзибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома и нетерпеливо попросила дрожжей, и, когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что у нее дрожжей нет, бойкая кухарка прочитала ей наставление:

– Мелочная лавочка без дрожжей! Да где же такое видано? Ну, не подняться вашему тесту, как и моему сегодня! Лучше закройте свою лавочку.

– Да, – ответила с глубоким вздохом Гепзиба, – так, наверно, и вправду было бы лучше.

Кроме этих неприятных случаев, бедная мисс Пинчон была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже вели себя так, будто покровительствовали ей. Гепзиба бессознательно тешила себя надеждой, что ее особу будет отличать какое-нибудь особенное звание, которое выражало бы почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет проявляться без слов. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком уж щедрым на сочувствие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а к одному, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она и вовсе отнеслась с презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, за барышня такая вздумала на заре своих дней сесть за конторкой. На этот раз нахмуренные брови Гепзибы очень ейгодились.

– Никогда еще в жизни я не был так испуган! – говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомому. – Это настоящая старая ведьма, честное слово, ведьма! Говорит она мало, но посмотрел бы ты, какая злость у нее в глазах!

Вообще новый жизненный опыт привел Гепзибу к весьма неприятным заключениям касательно характера низших слоев общества, на которые она до сих пор взирала с благосклонностью и состраданием, так как сама вращалась в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она вынуждена была бороться в то

же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы говорим о чувстве неприязни к высшему сословию, принадлежностью к которому она еще недавно так гордилась. Когда какая-нибудь леди в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой легкой поступью, что вы невольно обратили бы взор на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она земли или порхает по воздуху, – когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли букет китайских роз, нахмуренность старой Гепзибы едва ли можно было объяснить близорукостью.

И потом, устыдившись самой себя и раскаявшись, она закрывала руками лицо и говорила:

– Да простит меня Господь!

Приняв во внимание все события утра, Гепзиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.

Глава IV

День за конторкой

Около полудня Гепзиба увидела проходившего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с важными манерами. Он остановился в тени древнего вяза и, сняв шляпу, чтобы отереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый Дом с семью шпилями. От него самого в некотором роде веяло такой же почтенной стариной, как и от этого дома. Вряд ли возможно было отыскать более совершенный образец респектабельности, которая необъяснимым образом выражалась не только в его взгляде и жестах, но и даже в покрое его платья. Его костюм с виду совсем не отличался от костюмов прочих людей, но носил на себе печать какой-то особенной важности, которая происходила, вероятно, от характера самого владельца. Его трость с золотым набалдашником – уже подержанный посох из

черного полированного дерева – отличалась тем же характером. Этот характер, проявлявшийся в одежде и манерах этого господина, ясно говорил о его положении в свете, привычках, жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная; а что он помимо прочего еще и богат – это было так же очевидно для всякого, как если бы он показал банковские билеты или на ваших глазах коснулся ветвей вяза и обратил их в золото.

В молодости своей он, вероятно, был необыкновенно красивым человеком. Теперь же брови его были так густы, волосы так жидки и серы, глаза так холодны, а губы так тесно сжаты, что о красоте говорить не приходилось.

Когда пожилой джентльмен смотрел на дом Пинчонов, угрюмость и улыбка поочередно сменялись на его лице. Взгляд его остановился на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые он держал в руке, он внимательно рассмотрел маленькую выставку игрушек и других товаров Гепзибы. Сперва она ему как будто не понравилась, но потом он засмеялся. Улыбка не оставила еще его лица, когда он заметил Гепзибу, которая невольно наклонилась к окну, и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительный и благосклонный. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью и продолжил свой путь.

– Это он! – сказала себе Гепзиба, подавляя глубочайшее волнение; она была не в состоянии освободиться от этого чувства. – Желала бы я знать, что он думает об этом, нравится ли ему?.. Ах! Он оборачивается!

Джентльмен остановился на улице и, повернув голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но так случилось, что его опередил первый покупатель мисс Гепзибы, истребивший двух пряничных негров. Мальчуган остановился напротив окна. Казалось, неодолимая сила влекла его к пряничному слону. Что за аппетит у этого мальчишки! Съел пару негров тотчас после завтрака, а теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своей дорогой и повернул за угол улицы.

– Понимайте это, как вам угодно, кузен Джеффри! – пробормотала про себя старая леди, когда он удалился, высунув, однако, сначала голову в форточку и осмотрев улицу. – Понимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки – что же? Что вы можете против этого сказать? Разве дом Пинчонов не моя

собственность, пока я жива?

После этого Гепзиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недовязанный чулок, и начала работать, то и дело нервно вздрагивая. Скоро, однако, работа ей наскучила, она отбросила ее в сторону и стала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти скрылось под вековой пылью, в другом – Гепзибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как очертания лица и краски почти стерлись, суровый характер оригинала, казалось, обрел в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление нередко случается замечать в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которое художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) и не думал придавать изображаемой им особе, но которое с первого взгляда открывает нам истину души человеческой. Это значит, что глубокое понимание художником черт характера оригинала выразилось в самой сущности живописи и проявилось тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.

Глядя на портрет, Гепзиба дрожала. Почтительность по отношению к этому изображению не позволяла ей строго судить о характере оригинала, несмотря на то, что в глубине души она признавала истину. Женщина продолжала, однако же, смотреть на портрет, потому как это лицо было поразительно схоже – по крайней мере ей так казалось – с тем лицом, которое она только что видела на улице.

– Точь-в-точь как он! – бормотала она себе под нос. – Пускай Джеффри Пинчон смеется сколько хочет, но под его смехом вот что скрывается. Надень только на него шлем да черный плащ и дай в одну руку шпагу, а в другую Библию, и тогда – пускай себе смеется Джеффри – никто не усомнится, что старый Пинчон явился снова! Он доказал это тем, что построил новый дом.

Гепзиба так долго жила одна в доме Пинчоных, что ее ум проникся его преданиями. Ей нужно было пройтись по освещенной сиянием дня улице, чтобы освежить мысли. Тут, словно по волшебству, в воображении Гепзибы появился другой образ, написанный нежными и воздушными красками. Миниатюра Мальбона была нарисована с того же оригинала, но сильно уступала этому образу, оживленному любовью и грустным воспоминанием, тихому и задумчивому, с полными, алыми губами, готовыми к улыбке, о которой

предупреждали глаза со слегка приподнятыми веками, и с чертами, в которых проглядывала едва уловимая женственность. В миниатюре тоже есть эта особенность, поэтому нельзя не подумать, что оригинал был похож на свою мать, а она была любящей и любимой женщиной, которую отличала, может быть, некая нетвердость характера, но оттого ее только больше любили.

«Да, – подумала Гепзиба с грустью, и две слезинки выступили у нее на глазах. – Они преследовали в нем его мать! Он никогда не был Пинчоном!»

Но тут из лавочки донесся звон колокольчика. Гепзибе показалось, что он звучит Бог знает как далеко, так она углубилась в погребальный склеп воспоминаний. Войдя в лавочку, она обнаружила там еще одного смиренного жителя улицы Пинчонов – старика, который навещал ее с давних пор. Это был человек поистине древний; его всегда знали седым и морщинистым, и всегда у него был только один зуб во рту, сверху, и тот наполовину сломанный. Как ни стара была сама Гепзиба, но она не помнила такого времени, когда бы дядюшка Веннер, как называли его в окрестностях, не бродил взад-вперед по улице, немножко прихрамывая и волоча свою ногу по булыжникам мостовой. Но у него при этом было столько сил, что он не только мог держаться на ногах целый день, но и занимал в обществе особое место, которое в ином случае оставалось бы вакантным, несмотря на густонаселенность мира. Отнести письмо, тяжело переступая дряхлыми ногами, которые заставляли сомневаться в том, что он когда-нибудь достигнет цели своего похода; распилить бревно или нарубить дров для какой-нибудь кухарки, или разбить в щепки негодный к употреблению бочонок; летом вскопать несколько ярдов садовой земли; зимой очистить тротуар от снега или проложить тропинку к сараю или прачечной – такими были существенные услуги, которые дядюшка Веннер оказывал, по меньшей мере, двадцати семействам. В этом кругу он имел притязание на благодарность и любовь. Он не мечтал о каких-то выгодах, но каждое утро обходил окрестности, собирая остатки хлеба и другой пищи.

В свои лучшие годы – потому что все-таки существовало темное предание, что он был... не молод, но по крайней мере моложе, чем сейчас, – дядюшка Веннер считался человеком не слишком сметливым. Действительно, о нем можно было это сказать, потому как он редко стремился к успехам, которых добиваются другие люди, и всегда принимал на себя в житейских делах ничтожную и смиренную роль. Но теперь, в престарелом возрасте – потому ли, что его умудрил опыт долгой и тяжелой жизни, или потому, что его слабый рассудок не позволял ему прежде оценить себя по достоинству, – этот человек всерьез

претендовал на ум. В нем время от времени обнаруживалась, так сказать, некая поэтическая жилка: то был мох и пустынные цветы на его маленьких развалинах; они придавали прелесть тому, чтобы могло назваться грубым и пошлым в раннюю пору его жизни. Гепзиба оказывала ему внимание, потому что его имя было одним из самых древних в городе и некогда пользовалось уважением; но в первую очередь право на ее почтительное отношение Веннеру давало то обстоятельство, что он был самым старым среди всех одушевленных и неодушевленных предметов на улице Пинчонов, за исключением разве что Дома с семью шпилями и, может быть, раскидистого вяза.

Этот-то патриарх и предстал теперь перед Гепзибой в старом синем фраке, который напоминал современные моды и, вероятно, достался ему после раздела гардероба какого-нибудь умершего пастора. Что касается его штанов, то они были из толстого пенькового холста, очень короткие спереди и висевшие странными складками сзади, но неплохо сидели на его фигуре, чего нельзя было сказать об остальном его платье. Например, его шапка совсем не сочеталась с костюмом. Дядюшка Веннер казался сотканным из лоскутков разных эпох с их разными обычаями.

– Так вы и в самом деле принялись за торговлю? – обратился он к Гепзибе. – Всерьез принялись? Что ж, я очень рад. Молодые люди не должны жить праздно, впрочем, так же, как и старые, до тех пор пока ревматизм не одолеет. Он постоянно мне о себе напоминает, и я подумываю года через два оставить дела и удалиться на свою ферму. Она вон там; знаете, большой кирпичный дом – рабочий дом, как его еще называют. Но я сперва хочу потрудиться, а потом уже уйти на покой. Очень, очень рад, что вы тоже взялись за дело, мисс Гепзиба!

– Благодарю вас, дядюшка Веннер, – с улыбкой сказала Гепзиба, потому что она всегда чувствовала расположение к этому простоватому и болтливому старику. – В самом деле, пора и мне взяться за дело! Хотя, можно сказать, что я начинаю тогда, когда должна была бы закончить...

– Не говорите так, мисс Гепзиба, – возразил старик. – Вы еще молоды. Мне кажется, я еще совсем недавно видел, как вы малюткой играли у дверей дома! Чаше, однако же, вы сидели на пороге и смотрели с серьезным видом на улицу; вы всегда были серьезным ребенком – даже тогда, когда едва еще доставали до моего колена. Я до сих пор будто вижу вас ребенком перед собой и вашего дедушку в его красном плаще, и в белом парике, и в заломленной шляпе. Вижу вот, как он с тростью в руке выходит из дома и важной походкой идет по улице!

У старых джентльменов был важный вид... В лучшие мои годы сильного в городе человека обыкновенно называли джентльменом, а жену его – леди. Я встретил вашего кузена, судью, минут десять назад, и, несмотря на то, что на мне, как видите, старое отрепье, судья снял передо мной шляпу, как мне показалось. По крайней мере он поклонился и улыбнулся.

– Да, – произнесла Гепзиба с какой-то невольной горечью в голосе. – Мой кузен Джеффри считает, что у него очень приятная улыбка.

– А что? Это и в самом деле так! – ответил дядюшка Веннер. – И это чудесно, потому что, с вашего позволения, мисс Гепзиба, Пинчоны никогда не слыли ласковыми и приятными людьми. С ними невозможно было заговорить. Но почему, мисс Гепзиба, – если позволите старику такую смелость, – почему бы судье Пинчону при его средствах не зайти к вам и не попросить тотчас закрыть вашу лавочку? Конечно, для вас в этой торговле есть выгода, но для судьи – ровным счетом никакой!

– Не будем об этом, дядюшка Веннер, – холодно попросила Гепзиба. – Впрочем, я должна сказать, что если я и решилась зарабатывать себе на хлеб, то виной этому отнюдь не судья Пинчон. Он также не заслуживал бы порицания, если я, – прибавила она несколько ласковее, вспоминая привилегии старости и простой фамильярности дядюшки Веннера, – если бы я окончательно убедилась в том, что мне нужно удалиться вместе с вами на вашу ферму.

– Да, моя ферма – недурное местечко! – воскликнул старик добродушно, как будто в этом плане было что-то невероятно радостное. – Большой кирпичный дом... Особенно для тех, кто найдет там старых приятелей, как вот я. Меня давно уже к ним тянет, особенно в зимние вечера, потому что скучно одинокому старику дремать часами напролет без единого товарища, кроме горящей на очаге головни! Много можно сказать в пользу моей фермы – как в летнюю, так и в зимнюю пору. А возьмите вы осень – что может быть приятнее, чем проводить целый день под теплым солнцем на куче бревен с таким же старичком, как я сам, или, пожалуй, с каким-нибудь простаком, который умеет только лениться и балагурить? Право, мисс Гепзиба, я не знаю, где бы мне было так спокойно, как на моей ферме, которую называют рабочим домом. Но вы – вы еще молоды – вам нечего думать о ней. На вашу долю может выпасть что-нибудь получше. Я в этом уверен!

Гепзибе показалось, что во взгляде и в тоне ее почтенного друга есть что-то особенное. Она смотрела пристально ему в лицо, стараясь угадать, какая тайная мысль – если только она была – сквозит в его чертах. Люди, оказавшись в отчаянном положении, часто тешат себя надеждами, которые тем великолепнее и фантастичнее, чем меньше у них в руках остается твердого материала, для того чтобы вылепить какое-нибудь вполне резонное ожидание благоприятной перемены. Так и Гепзиба, строя планы торговли, постоянно питала в душе надежду, что фортуна устроит ей какой-нибудь необыкновенный сюрприз. Например, дядя, отплывший в Индию пятьдесят лет назад и пропавший без вести, может вдруг вернуться, сделать ее утешением своей глубокой и очень дряхлой старости, украсить ее жемчугом, алмазами, восточными шальями и тюрбанами и завещать ей свое несметное богатство. Или член парламента, глава английской ветви ее рода – с которой старшее поколение по эту сторону Атлантического океана не имело никаких сношений в течение последних двух столетий, – может написать Гепзибе, чтобы она оставила ветхий Дом с семью шпилями и переехала жить к родным в Пинчон-холл. Впрочем, по важным причинам она не смогла бы принять это приглашение. Поэтому гораздо вероятнее, что потомки Пинчона, которые когда-то переселились в Вирджинию и стали там богатыми плантаторами, узнав о жалкой участи Гепзибы, пришлют ей вексель в тысячу долларов с обещанием высылать по стольку же ежегодно. Или великая тяжба о наследстве графства Вальдо может, наконец, быть решена в пользу Пинчонов, так что, вместо того чтобы торговать в лавочке, Гепзиба построит дворец и будет смотреть из его высочайшей башни на холмы, долины, леса, поля и города, составляющие ее владения.

Таковы были некоторые из фантазий, которыми она давно уже утешалась. Под их влиянием попытка дядюшки Веннера ободрить ее озарила странным торжественным светом убогие, пустые и печальные комнаты ее ума. Но или старик ничего не знал о ее воздушных замках – да и откуда ему было знать, – или ее пристальный, нахмуренный взгляд прервал его приятные воспоминания, как могло бы случиться и с человеком похрабрее, – только дядюшка Веннер вместо того, чтобы приводить еще более веские доводы благоприятного положения Гепзибы, счел за благо снабдить ее несколькими мудрыми советами касательно ее нового ремесла.

– Не давайте никому в долг! – Таким было одно из его золотых правил. – Никогда не принимайте векселя! Хорошенько пересчитывайте сдачу! Серебро должно иметь чистый звон! Отдавайте обратно английские полупенсы и медную монету! На досуге вяжите детские чулочки и рукавички! Заправляйте сами для своей лавочки дрожжи и пеките сами пряники!

Пока Гепзиба силилась переварить жесткие пилюли его глубокой мудрости, он в заключение своей речи привел два следующих, по его мнению, весьма важных, совета:

– Встречайте своих покупателей с веселым видом и улыбайтесь им со всей любезностью, подавая то, что они попросят! Залежавшийся товар, если вы подадите его с добродушной, теплой, солнечной улыбкой, покажется им лучше, чем самый свежий, но сунутый в руки с суровым видом.

На это последнее изречение бедная Гепзиба ответила таким глубоким и тяжелым вздохом, что дядюшка Веннер чуть не отлетел в сторону, как сухой листок от дыхания осеннего ветра. Оправившись, однако, от смущения, он опять подался вперед и прошептал ей с особенным чувством, которое отразилось на его старом лице:

– Когда вы ждете его домой?

– Кого? – спросила, побледнев, Гепзиба.

– Ах! Вы не любите говорить об этом, – сказал дядюшка Веннер. – Ладно, ладно, не будем больше болтать, хотя о нем толкуют кое-что в городе. Я помню, каким он был, мисс Гепзиба, еще до отъезда!

Оставшуюся часть дня бедная Гепзиба играла роль торговки с еще меньшей уверенностью, чем утром. Она как будто жила во сне или, вернее, делала все полубессознательно. Она продолжала вскакивать на зов колокольчика, продолжала по требованиям своих покупателей обводить блуждающим взглядом лавочку, подавать им то одну, то другую вещь и откладывать в сторону – наперекор им, как многие думали, – именно то, что они просили. В самом деле, когда мысли человека устремлены в прошлое или в будущее, он неизбежно бывает подвержен печальному замешательству. Как будто по воле злой судьбы, в эти послеобеденные часы, как нарочно, покупатели один за другим приходили в лавочку. Гепзиба металась туда-сюда по тесной комнатке, совершая множество неслыханных промахов: иной раз она отсчитывала на фунт двенадцать сальных свечек, а в другой – только семь вместо десяти; продавала имбирь вместо шотландского нюхательного табака, булавки вместо иголок, а иголки вместо булавок; ошибалась в сдаче иногда в ущерб покупателю, но чаще себе в убыток, и так продолжалось, пока наконец не наступил вечер и она, к

своему изумлению, не обнаружила, что ящик для денег почти пуст. Вся ее торговля принесла ей за день, может быть, полдюжины медных монет и подозрительный шиллинг, который вдобавок оказался медным.

Этой ценой, или какой бы то ни было другой, она купила наконец удовольствие встретить конец дня. Никогда прежде время между рассветом и закатом солнца не тянулось для нее так долго; никогда она не испытывала досадной необходимости трудиться; никогда еще не чувствовала так ясно, что лучше всего для нее было бы покориться судьбе, сдаться, упасть и позволить жизни с ее трудами и горестями катить свои волны через распростертое тело изнемогшей жертвы.

Последнюю свою сделку Гепзиба заключила с маленьким истребителем пряничных фигурок. На этот раз он попросил верблюда. В своем замешательстве, она отдала ему на съедение сперва деревянного драгуна, а потом горсть мраморных шариков, но так как ни один из этих предметов не пришелся ему по вкусу, то она торопливо схватила последние остатки естественной истории в виде пряников, вручила их маленькому покупателю и выпроводила его из лавки. Потом обернула колокольчик недовязанным чулком и задвинула на двери дубовый засов.

Во время этой процедуры под ветвями вяза остановился омнибус. Сердце Гепзибы сильно затрепетало. Отдаленной и покрытой сумраком была эпоха, когда она ждала и не дождалась к себе единственного гостя, на чей приезд можно было рассчитывать: неужели она увидит его теперь?

Во всяком случае, кто-то вылезал из глубины омнибуса к выходу. Тут на землю спустился джентльмен, но только для того, чтобы предложить свою руку молодой грациозной девушке, которая, нисколько не нуждаясь в такой помощи, легко спустилась по ступенькам и прыгнула с последней ступеньки на тротуар. Она наградила своего кавалера улыбкой, и тот с радостным видом возвратился в омнибус. Девушка обернулась к Дому с семью шпилями, у входа в который – не у двери лавочки, а у старинного портала – кондуктор положил легкий сундук и картонную коробку. Постучав в дверь дома старым железным молотком, он оставил свою пассажирку и ее багаж и отправился восвояси.

«Кто же она такая? – думала Гепзиба, изо всех сил напрягая зрение. – Видно, ошиблась домом!» Мисс Пинчон тихо прокралась в переднюю и, оставаясь невидимой, стала смотреть сквозь мутное боковое оконце возле портала на

молодое, цветущее и чрезвычайно веселое личико девушки, ожидавшей приема в пасмурном, старом доме. Это было такое личико, перед которым каждая дверь отворилась бы добровольно.

Девушка, такая свежая, непосредственная, и при этом, как вы сейчас увидите, такая уживчивая и покорная, являла собой разительный контраст со всем, что ее окружало. Грубый камыш, который рос в углах дома, тяжелый выступ верхнего этажа и обветшалый навес над дверью – все это казалось несовместимым с ней. Но, подобно тому, как солнечный луч, куда бы он ни упал, тотчас представляет все в новых красках, все здесь вмиг получило иное выражение – как будто для того и устроено было, чтобы эта девушка стояла на пороге этого дома. Невозможно было допустить и мысли, чтобы его дверь не отворилась перед ней. Даже старая леди вскоре почувствовала, что надо открыть дверь, и повернула ключ в заржавевшем замке.

«Уж не Фиби ли это? – спрашивала она сама себя. – Верно, это маленькая Фиби, больше некому, притом она как будто напоминает своего отца! Но что ей здесь нужно? И как моя деревенская кухня могла нагреть ко мне вот так, не известив меня даже за день до приезда и не узнав, будут ли ей здесь рады? Но она, верно, только переночует и вернется завтра к своей матери».

Фиби, как уже понятно, была молодым побегом того поколения Пинчонов, которое поселилось в деревенском захолустье Новой Англии, где до сих пор свято соблюдались старые обычаи и чтились родственные чувства. В ее кругу вовсе не считалось неприличным навестить родственника без приглашения или предварительного уведомления. Впрочем, из уважения к затворнической жизни мисс Гепзибы, ей все же было написано и отправлено письмо о скором посещении Фиби. Это письмо дня три или четыре назад перешло из конторы в сумку городского почтальона, но тот, не имея другой надобности заходить на улицу Пинчонов, не счел нужным явиться в Дом с семьей шпилями.

«Нет, она только переночует, – решила про себя Гепзиба, отворяя дверь. – Если Клиффорд застанет ее здесь, это будет ему неприятно!»

Май и ноябрь

Фиби Пинчон в ночь своего прибытия была помещена в комнате, выходившей окнами в сад, расположенный позади дома. Окна смотрели на восток, так что в самый ранний час утра красный свет лился в комнату, окрашивая в багряные тона темный потолок и бумажные обои. Постель Фиби была снабжена занавесками, или, лучше сказать, мрачным старинным балдахином с тяжелыми фестонами[5 - Фестон – один из выступов зубчатой каймы по краям штор, занавесок, по подолу женского платья и т. п.]. Этот балдахин в свое время был роскошен и великолепен, но теперь висел над девушкой, как туча, не пропускающая свет. Впрочем, утренняя заря все же прокралась в щель между полинялых занавесок у основания кровати и, найдя под ними новую гостью с щеками такими же румяными, как и само утро, поцеловала ее чело. То была ласка, какую старшая сестра оказывает младшей – отчасти побуждаемая горячей любовью, а отчасти в знак нежного напоминания, что пора открыть глаза.

Почувствовав прикосновение розовых уст зари, Фиби тотчас проснулась и сначала не могла понять, где она. Ей было совершенно ясно только то, что наступило утро, а потому надо встать и помолиться. Она почувствовала тягу к молитве уже от одного угрюмого вида комнаты и мебели в ней, особенно высоких жестких стульев. Один из них стоял возле самой ее постели и имел такой вид, как будто на нем всю ночь сидел какой-то человек из прошлого века и только что исчез из виду.

Одевшись, Фиби выглянула в окно и увидела в саду розовый кустарник. Очень высокий и разросшийся, со стороны дома он был подперт жердями и весь усыпан прекраснейшими белыми розами. Они по большей части, как девушка увидела после, были изъедены червями или увяли от времени, но издали кустарник казался перенесенным сюда прямо из Эдема вместе с почвой, на которой вырос, хотя на самом деле его посадила Элис Пинчон, прапрабабушка Фиби, а земля была старой. Однако же цветы источали изумительно свежий и сладкий аромат. Фиби сбегала вниз по скрипучей, не покрытой ковром лестнице, вышла в сад, нарвала букет самых роскошных цветов и принесла его в комнату.

Маленькая Фиби была в исключительной степени одарена хозяйственностью и вместе с тем способностью преображать все вокруг. Благодаря этому необычному умению она привносила уют и комфорт в любое место, где ей случалось жить, пусть даже короткое время. Простой шалаш из хвороста,

построенный путешественниками в диком лесу, стал бы похож на дом после одного ночлега в нем такой женщины. Не менее волшебное превращение испытала теперь и эта пустая, унылая и мрачная комната, в которой так давно уже никто не жил, кроме пауков, мышей и привидений, и которая повсеместно носила следы опустошения – этой враждебной силы, стирающей все напоминания о счастливейших часах жизни человека.

В чем именно состояли заботы Фиби, определить невозможно. Она, по-видимому, не строила предварительно никаких планов насчет того, какие действия ей следует предпринять, но коснулась одного, другого угла комнаты, переставила некоторую мебель на свет, а другую отодвинула в тень, подняла или опустила оконную штору и за какие-нибудь полчаса успела придать всей комнате приятный и гостеприимный вид. Не далее как вчера эта комната еще походила на сердце старой Гепзибы, потому что в ней также не было ни солнечного света, ни согревающего домашнего огня, и, кроме привидений и мрачных воспоминаний, много лет уже ни один гость не забредал ни в сердце старой девы, ни в эту комнату.

В неуловимом очаровании Фиби была вот еще какая особенность. Спальня эта, без сомнения, становилась свидетельницей многих различных сцен человеческой жизни: здесь пролетали радости брачных ночей, здесь новорожденные делали первый вдох, здесь умирали старики. Но потому ли, что в этой комнате благоухали белые розы, или по какой-нибудь другой причине, только человек тонко чувствующий тотчас понял бы, что это спальня девушки, очищенная от всяких прошлых горестей ее легким дыханием и веселым настроением. Яркие сновидения, которые Фиби видела прошлой ночью, разогнали прежний мрак и сделали эту комнату ее жилищем.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Гонт – остро сточенные с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны дощечки, которыми кроют крыши, вкладывая сточенный конец одной дощечки в паз другой.

2

Дагеротипия – открытый Дагером способ фотографирования предметов при помощи света на металлическую пластинку, обработанную особым химическим способом (применялась до введения методов современной фотографии)

3

Джим Кроу – негр, персонаж популярного представления, которое показывали на подмостках американских ярмарок по всей стране с 1932 года.

4

Согласно древнегреческой мифологии, Зевс даровал Эолу власть над ветрами, которые тот заключил в пещеру на своем острове.

5

Фестон – один из выступов зубчатой каймы по краям штор, занавесок, по подолу женского платья и т. п.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/nataniel-gotorn/dom-s-semyu-shpilyami-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)